

Математика

Всей жизнью Рахамима Сарони управляла математика. Она занимала его мысли и подсознание, определяла поступки, слова и эмоции. Иногда она представлялась ему как счеты-абак, какими пользовался в лавке его отец Салах, в тонкой рамке, но с тяжелыми, потемневшими от времени и жира костяшками. Костяшки глухо щелкали над головой Рахамима каждый раз, когда кто-то покупал самбусак, и этот звук вплетался в ритм его существования так же естественно, как шум машин, цоканье светофора и гул переходящих на другую сторону людей.

Самбусак это закрытый со всех сторон пирожок с несладкой начинкой из тонкого тугого теста, дальний юго-восточный брат кальцоне. После смерти Салаха-сапожника Рахамиму отошла его лавка на углу Герцля и Жаботинского, чуть не доходя до центральной автобусной станции. Это была небольшая одноэтажная халупа, неприглядная и замызганная. Рахамим, тогда еще женатый и дородный, "вложилась": перекрасил стены, установил большую газовую печь, выглядящую почти как дровяная и заплатил художнику за прекрасную вывеску: "Самбусак Рахамим". Каждое утро Рахамим доставал из морозильного шкафа новую порцию приготовленных уже самбусаков и любовно сортировал их по специально помеченным ящикам: "самбусак картошка", "самбусак туна", "самбусак яйцо", "самбусак двойной сыр", "самбусак белый сыр", "самбусак оливки", "самбусак пицца", "самбусак класс", "самбусак хит", "самбусак бомба". Раскладывая каждую порцию пирожков в соответствующий ящик, в голове у Рахамима протекал непрерывный ручей математики: картошка шекель и семьдесят агорот за кило хватает на двенадцать штук плюс двадцать четыре агорот за тесто плюс газ плюс электричество плюс вода плюс тринадцать в час зарплата плюс... Этот поток пенно врезался в дамбу ценника над ящиком, цифра на котором значительно превышала суммарный объем протекшего, и каждый купленный самбусак отдавался в голове у Рахамима костяшкой абака.

"Самбусак Рахамим" был открыт круглые сутки, шесть дней в неделю. По субботам автобусы не ходили, и поток на станции спадал, поэтому соблюдать шабат было не так жалко, но все-таки вечером каждой пятницы, закрывая железную витрину, Рахамим чувствовал, как сосет под ложечкой. Он не любил, когда абак замолкал, и боялся, что по каким-то причинам, небесным или земным, он больше не услышит заветного щелканья. Рахамим находился в лавке каждый день, часов по двенадцать-четырнадцать. В остальное время в "Самбусаке" работали молодые сменяющие друг друга парни, только что закончившие либо учиться, либо служить, а то и вовсе старшекласники, прогуливающие уроки. Собственные дети Рахамима тоже работали там до какого-то времени, но они повзрослели, ушли в армию, потом переехали на север, и их интерес к "Самбусак Рахамим", а самого Рахамима к ним истаял. Жизнь Рахамима текла хорошо, место было нахоженное, народу было много, а запах разогреваемых в печи самбусаков был маняще-вкусным, и при попутном ветре доходил аж до самого выхода из автобусной станции, так что битву со своими главными конкурентами — "Бургер Кингом" и "Сбарро" —

Рахамим выигрывал вчистую. Столики последних были в основном заполнены мелюзгой, детьми, празднующими бесконечные свои дни рождения. Три пластиковых столика лавки Рахамима занимали люди серьезные — рабочие с близлежащей стройки, рыночные торговцы, ждущие автобуса солдаты. У Рахамима были и постоянные клиенты, живущие поблизости мудрецы и пенсионеры, но основную часть щелкания костяшек абака составляли автобусные пассажиры. По утрам и вечерам, в часы пик абак выдавал настоящие пулеметные очереди.

Секретом успеха, тайным оружием Рахамима была Има-ле. Настоящее ее имя было Шошана, но оно со временем как-то забылось, и все, включая незнакомых людей, звали ее просто "мамуля" — Има-ле. Приходилась она Рахамиму тещей. Жила в маленькой однокомнатной квартирке неподалеку от "Самбусак Рахамим", и каждый день, круглый день готовила самбусаки. Производила Има-ле от тридцати до сорока самбусаков ежедневно, включая субботу, доводила их до полуготовности в небольшой электрической духовке и убирала в гигантский морозильник. Как работник Има-ле была далека от идеала: пораженные артритом руки слишком медленно лепили и раскатывали тесто, самбусаки иногда раскрывались и текли начинкой, а сама начинка часто оказывалась недосоленной. Но она была готова безропотно работать почти круглые сутки, не требуя от Рахамима ничего, кроме оплаты ее жилья, да закупки ингредиентов, когда те кончались. Има-ле была низеньким, коренастым, скрюченным краугольным камнем, на котором держалась вся самбусакная империя. Рахамим это отлично понимал, и каждый раз, когда Има-ле жаловалась на плохое самочувствие, он закрывал лавку, подвозил ее на своем видавшем виды Пежо к знакомому врачу, заботливо помогал ей выйти из машины, а потом ждал, ерзая на неудобном стуле, в глубине своего сознания видя рассыпавшиеся по полу приемной костяшки абака.

Беда пришла откуда Рахамим не ждал, хотя и неосознанно подозревал недоброе. Апрельским утром, в воскресенье, радио сообщило Рахамиму, что день будет теплым, но еще не жарким, а это означало, что все три столика будут заняты, и философские разговоры завсегдаев продлятся сильно дольше обеденного часа, а значит следует рассчитывать на лишнее щелкание в голове, и эта мысль развеселила его, когда он шел к Има-ле забирать вчерашние самбусаки. Он даже обратил внимание на детей, которые гоняли мяч во дворе вместо школы и вспомнил, что начались пасхальные каникулы. Благодать опустилась на Рахамима, который не любил сам Песах из-за запрета на мучное, но любил две недели перед ним — на каникулах дети с удовольствием покупали его самбусаки, забегая в лавку целыми стайками, да еще и родителям приносили. — Рахамим, я хочу в Париж, — сказала Има-ле, когда он медленно и важно вошел на ее кухню. Поначалу Рахамим не понял.

— Что за Париж, Има-ле? — спокойно спросил он, доставая из морозильника порцию самбусаков.

— Ну, Париж, во Франции. Мне Мила сказала...

Ледяная волна прокатилась по животу Рахамима. К Миле он испытывал что-то между жгучей неприязни и отрезвляющего страха. Была она к тому же "*русия*", то есть русская, а

их Рахамим без всякой на то причины не любил. Сама Мила была полная, небольшого роста женщина, соседка и ровесница Има-ле, работала нянечкой и часто заходила в гости, отрывая Има-ле от работы, что тоже симпатий не вызывало. Несколько раз она приносила *блинчес* — странные, мягкие и влажные на ощупь, кружевно-тонкие лавашаи, на которые нужно было мазать варенье со сметаной. *Блинчес* Рахамиму не понравились еще больше, чем Мила. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, выглядела Мила значительно моложе Има-ле, носила нормальную, не "старушечью" одежду и говорила громким, поставленным голосом. Женщину сначала подружились по-соседски, а затем и по-настоящему, когда к неудовольствию Рахамима обнаружилось, что у них много общих интересов.

— ...и это не очень дорого, неделю после Песаха, поэтому по скидке, и невестка Милы работает в турагентстве...

— Нет, Има-ле, — сказал Рахамим. — Это невозможно.

Обычно категоричного тона хватало, чтобы убедить Мамулю в чем угодно, но на этот раз в ее глазах загорелся незнакомый огонек.

— Мне нужен отпуск, Рахи.

Это имя сперва ошеломило Рахамима, потому что его так никто давно не называл.

— Я работаю каждый день, постоянно, и никогда у тебя этого не просила. А теперь я устала. Дети тоже говорят, что я должна отдохнуть.

Обескураженный, загнанный в угол, Рахамим не мог представить, откуда у Има-ле, которая казалась ему тихим и безропотным, почти бессознательным существом, способным только заворачивать начинку в тесто, появились желания, настойчивость и убийственная, железная логика. Последним, что она говорила ему вчера, было "У нас закончился тунец", а теперь... Рахамим силился вычлнить в голосе Има-ле нотки милиного голоса — а Мила была учительницей в Советском Союзе — или хотя бы наставительный тон его старшей дочери, но нет, это была сама Има-ле, спокойная и твердая. Для Рахамима это было потрясением, как если бы вдруг заговорила запылившаяся фотография его жены.

— Я подумаю, Има-ле, надо работать, — выдавил он из себя и юркнул за дверь. От апрельского настроения не осталось и следа, и абак молчал.

— Что? Париж? Конечно, я бывал в этом Париже! — громко проскрипел Нахум Зальбони, когда Рахамим поделился сегодняшним происшествием со своими завсегдатаями. Слово "Париж" Нахум произносил на французский манер — *Пари* — и в его речи оно казалось неожиданным, как сочная изюминка в старой засохшей булке. — У меня там внук живет, я был у него в гостях.

Нахум был патриархом гигантского клана, раскинувшего свои ветви на три континента. У него было шесть детей, двадцать семь внуков, и начали появляться правнуки, чье количество в будущем грозило перевалить за сотню. Нахум тоже любил математику.

— И что там? — спросил Рахамим. Он попытался сформулировать живущую внутри тревогу, но выдавил лишь одно слово: — Опасно?

— Опасно? Что вдруг? — Нахум рассмеялся, и другие вместе с ним. — Да там всего лишь *нацим*, что уже они нам сделают?

"*Нацим*" — нацистами — Зальбони называл всех европейцев.

— *Нацим-шмацим*, — поддакнул его друг Элизер, владелец лотка с помидорами.

— А на что там смотреть? Чего она там хочет?

— Хочет и хочет, — закончил разговор Нахум и впился зубами в самбусак.

Рахамим, однако, не был убежден, и на следующий день пошел отстаивать свою позицию. В квартире Има-ле его ждала Мила. Она стояла посередине кухни, незыблемо и прямо, еле доходя Рахамиму до груди. В глазах ее читалось выражение, которое тот не видел с начальной школы.

— *Тагид ли бээзкаша, Рахамим*, — спокойно сказала она своим русским акцентом, делая согласные плоскими, а гласные округлыми, — скажи мне, пожалуйста, Рахамим, почему ты не даешь Мамуле отдохнуть? Мамуля хочет поехать в Париж. Почему не даешь? Это же твоя семья.

— Да нет у меня там семьи...

— Она! Она твоя семья, и хочет поехать.

— Но... почему в Париж?

— Это... — Мила замялась, подыскивая слово. — это *романтика!*

— Романтика, — эхом отозвалась с кухонного стула Има-ле, и абак в голове Рахамима застонал, словно железные прутья были струнами.

Вместе они собрали небольшой чемодан, который нашелся на антресолях в квартире Рахамима. Тур, который нашла им милина невестка оказался по-русски, но Мила сказала, что будет переводить, и вообще, самое важное — смотреть на романтику. Рахамим по большей мере молчал, только один раз попытался возразить, когда Мила повезла Има-ле за покупками, но был быстро поставлен на место.

— Париж это столица моды, Рахамим, — твердо сказала Мила. — Мамуля не может ехать *в этом*.

На Песах, по предварительному договору, Има-ле целыми сутками лепила самбусаки и складывала в морозильник. Работалось ей легко, и Рахамим слышал, как она даже напевала себе под нос, заворачивая начинку в тесто старой алюминиевой ложкой. Накануне праздника Има-ле отмыла ложку до первозданного блеска, и она ловила солнечный свет из маленького кухонного окна, и украшала стены прыгучими бликами. Рахамим неожиданно для себя однажды вечером сходил в синагогу, а на третий день Песаха на кладбище.

В аэропорт Рахамим повез Милу и Има-ле сам, доверив управление "Самбусак Рахамим" очередному безымянному парню. В аэропорту была давка, очереди ползли медленно, и Рахамим мог долго смотреть, как две маленькие женщины, разговаривая о чем-то своем, скрывались из виду медленно и спокойно, как весеннее израильское солнце в часы заката.

Следующая неделя была худшей в жизни Рахамима с тех пор, как он после восьми месяцев ада похоронил свою жену на тесном, заполненном кладбище за чертой города. Сам он не понимал, что произошло — дело шло налаженным бурным потоком, изготовленные Има-ле самбусаки улетали с прилавка, и абак в голове Рахамима послушно щелкал, отсчитывая прибыли. Он много и охотно болтал с покупателями, и

даже вступил в задорный спор с Нахумом Зальбони о перспективах премьер-министра на ближайших выборах. Но звук костяшек в его голове был непривычный, глухой, что-то было не то, что-то сломалось, а понять, что именно, Рахамим не мог, и не мог даже понять, как начать пытаться понимать. Впервые за много лет ему стали сниться сны; поначалу странные, бесформенные, как будто с непривычки. Затем сны стали обретать форму, но запомнить их он не мог, и просыпался посреди ночи в ужасе, пытаясь нашарить в крошечной предрассветной тьме очки. Он снова ложился, но вместо сна начинал думать, думать, но ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал. Днем он представлял себе все мыслимые и немыслимые напасти, которые могли случиться с Има-ле, ее самолетом, ее отелем и всем Парижем, но она послушно и кротко писала ему эсмски, что у них все хорошо, город ей очень нравится, что там очень красиво, и деревья начинают расцветать, и очень вкусная, просто потрясающая еда, и что они с Милой гуляют по берегу реки или поднимаются на Эйфелеву башню. От этих коротких сообщений с опечатками — он так и представлял себе, как она осторожно давит большими пальцами на кнопки старенького милиного телефона — ему не становилось легче, даже наоборот, он чуть ли не задыхался. Однажды днем, заворачивая очередной самбусак в салфетку и убирая его в полиэтиленовый пакет для спешащего на автобус покупателя, Рахамим вдруг вспомнил своего отца. Салах-сапожник, улыбаясь, клеил чей-то башмак, а сам Рахамим, четырех или пяти лет от роду, сидел под столом и наблюдал за ним. Рахамим вспомнил все до мельчайшей детали: тяжелый, кислый запах клея, пыль и стружку на полу, босые, заскорузлые ноги отца. Зашел посетитель — грузные, усталые ноги в кожаных сандалиях — сверху раздался смех и слова благодарности. Салах отодвинулся на своем скрипучем стуле, залез в ящик и достал оттуда починку. Зашедший начал ее осматривать, и в мастерскую вошла мама — больные, сдавленные артритом ступни. Она позвала Рахамима, он вылез из-под стола, взял ее за руку, пошел за ней. Последнее, что он услышал из-за закрывающейся двери — быстрый треск отцовского абака.

Потом она вернулась. Встретил их сын Милы, глубокой ночью. На следующий день все стало по-прежнему. Мир обрел равновесие. Рахамим благостно не стал заходить к Има-ле с утра, потому что забирать было еще нечего. Вместо этого он пришел в "Самбусак Рахамим" пораньше, включил газовую печь. Стало жарко, хорошо. Когда подошел первый покупатель, строитель Фарук, ремонтирующий крыло автобусной станции, Рахамим уже основательно пропотел. Фарук протянул ему зеленую бумажку, получил несколько монет сдачи, и абак в голове Рахамима вдруг щелкнул так звонко, что он на секунду оглох, слившись с этим звуком, так, будто у него в ухе рассосалась давно терзавшая его ушная пробка. Подошел еще один покупатель, потом еще. Люди торопились на работу. Рахамим едва успевал кидать в печь самбусаки. Передохнуть удалось лишь часам к одиннадцати, но вскоре подтянулись обеденные едоки. Все три пластмассовых столика были забиты людьми. Люди стояли, подпирая стены, торопливо ели горячие, пахнущие печью пирожки и быстро уходили, чтобы их сменили другие. Поток утих только часам к восьми, а еще через час пришел Йоси, чтобы сменить Рахамима и отработать ночную смену. Йоси

недавно освобожден из армии и зарабатывал деньги на поездку в Индию со своей подружкой. Обменявшись с ним парой фраз, Рахамим спокойно пошел в сторону дома Има-ле. Не торопясь, переводя дух, поднялся по узкой лестнице на четвертый этаж. Открыл дверь своим ключом. Има-ле ждала его на кухне. Ярко горел свет. Рахамим радостно вошел, резко остановился, а через секунду в первый раз в жизни разрыдался. Посреди засыпанного мукой стола, на тарелке аккуратно лежали три некрасивых, неумело сделанных круассана.